

Наталья ИРТЕНИНА

НЕСТОР- ЛЕТОПИСЕЦ



Наталья Иртенина
Нестор-летописец

«ВЕЧЕ»

Иртенина Н. В.

Нестор-летописец / Н. В. Иртенина — «ВЕЧЕ»,

ISBN 978-5-4444-8855-3

Книга «Нестор-летописец» московской писательницы Натальи Иртениной открывает линию исторических произведений, посвященную сложному периоду становления русской государственности в X—XI вв. По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями... Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию...»

ISBN 978-5-4444-8855-3

© Иртенина Н. В.

© ВЕЧЕ

Содержание

Часть первая. Мятеж	7
1	8
2	12
3	15
4	19
5	26
6	29
7	31
8	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Наталья Иртенина

Нестор-летописец

ОБ АВТОРЕ

Книга «Нестор-летописец» московской писательницы Натальи Иртениной открывает линию исторических произведений, посвященную сложному периоду становления русской государственности в X—XI вв. По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями... Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию...»

Несколько лет назад Наталья Иртенина получила известность именно как автор «литературы чуда», в которой органично сплетаются земная реальность и иная, высшая. Этот литературный формат, развиваемый некоторыми современными писателями, получил удачное название «христианского реализма», сразу подхваченное критиками.

Не любя однообразия, Иртенина пробовала себя в разных жанрах – альтернативной истории (роман «Белый крест»), романа-притчи («Меч Константина»), историко-философского детектива (повесть «Волчий гон»), в биографическом жанре (эссе о Ф.И. Тютчеве в сборнике «Персональная история», книга «Патриарх Тихон»). Участвовала в коллективной научной монографии «Традиция и Русская цивилизация», развивающей концепции философии истории, в частности философии русского традиционализма.

В рамках художественных построений Иртенину интересует то позитивная модель христианского государства, то смысловые стержни русской истории. А, например, в романе «Царь-гора» автора волнует не только прошлое России, убитой после 1917 года, но и ее будущее, ее шанс на воскресение, поэтому линия Гражданской войны тесно переплетена в книге с линией современности. Поиск ответов на сложные вопросы человеческой истории и личных судеб, философская заостренность в яркой художественной форме, доля тонкого юмора – визитная карточка произведений Натальи Иртениной. А в последних своих романах она демонстрирует умение уютно «обжиться» в мире Древней Руси, среди князей Рюриковичей, бояр, монахов, дружинников, торгового люда – ни на йоту, как дотошный исследователь, не отступая от исторической достоверности летописного «эпического века».

Член Союза писателей России, Иртенина время от времени выступает также как публицист и автор статей на культурно-исторические темы в московской журнальной периодике и книжных изданиях. В полемике по литературным вопросам, на семинарах историко-литературного «Карамзинского клуба» она проявляет крайнюю жесткость и принципиальность, за что критик Лев Пирогов однажды в шутку отозвался о ней как о «...княжне Мышкиной на балу лицемеров».

На поприще художественно-исторических реконструкций Наталья Иртенина стала обладателем литературных премий «Меч Бастиона», «Карамзинский крест», премии Лиги консервативной журналистики имени А.С. Хомякова, награждена знаком «За усердие» историко-культурного общества «Московские древности». Роман «Нестор-летописец» в 2011 году номинировался на Патриаршую премию по литературе имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НАТАЛЬИ ИРТЕНИНОЙ:

- «Белый крест» (2006)
- «Меч Константина» (2006)
- «Царь-гора» (2008)
- «Нестор-летописец» (2010)
- «Шапка Мономаха» (2012)
- «Патриарх Тихон» (2012)

И о том помыслив, вошел ты в святую купель...
Митрополит Иларион.
Слово о Законе и Благодати

Се повесть временных лет...
Нестор-летописец

Часть первая. Мятеж

*Год 6576 от Сотворения мира,
от Рождества Христова 1068-й.*

В плешивую верхушку Лысой горы врыт истукан. Деревянный, бородатый, дикий. Когда гуляют дождь и ветер, идол воет и трясется. Под солнцем ссыхается и трескуче попукивает. Борода лупоглазыми змеями струится до земли. Идол выструган недавно, но от нетерпения успел покрыться гнилыми пятнами. Злыми глазами он смотрит на стольный Киев.

Старший город Руси обильно взошел на семи горах, напоен Днепром-батькой, вскормлен полями, умыт Христом, облачен княжым стараньем в белостенный наряд. Жирный город. Щедрый тук льется в закрома. Быстрая кровь играет в жилах.

Идол слепо взирает окрест. По правую руку – от Предславина-села к Золотым воротам тащатся вереницей букашек горбатые возы сена. В Белгород от Жидовских ворот полетел на коне княжий гонец. Слева из Дорожич плетутся гурьбой калики перехожие, нищие бродяги и песельники. Дальше за шляхом гора Щекавица, перетянутая пополам срубной киевской городьбой. Перед белёной стеной на верху холма пучится древний курган. Киевский люд зовет его могилой Вещего Олега, того самого, что перед смертью посмеялся над волхвами-предсказателями. Впереди, далеко, за жилой застройкой, ныряющей в яр, выплескивающей на холм, – Гончарами, Кожемяками, – серебрится крестами и темнеет кровлями Княжья Гора в собственном белостенном венце. Не так давно спустившийся с Горы и раздобревший Киев всеми дорогами сходится к Святой Софии. Двадцать пять куполов собора теснятся, подпихивают друг дружку повыше.

Всего этого идол не видит. У него есть глаза, рот и уши, но он не умеет видеть, слышать и говорить. Идолы умеют только ждать.

1

Убежавшее от туч солнце просовывало пальцы в шестигранники слюдяного окна, тяпало по макушке, до чиханья щекотало в носу. Пыльные лучики отскакивали от свинцовых ученических писал, прыгали на стены. Тщетно пытались расплавить воск на вощаницах, слизать написанное.

Между столами, опираясь на кованую узорную трость, шагал наставник отец Евагрий. Бледный, сухопарый грек с провислыми подглазьями и навсегда отпечатавшейся в лице душевной мукой ступал беззвучно, заглядывал в восковые тетради учеников. Даже свою железную палку выучил не издавать стука, отчего страдали всегда проказники, сидевшие спиной в проход. Той же палкой Евагрий учил не делать ошибок на письме.

Торопясь за ровным, как стесанное бревно, голосом учителя, Несда вдавливал в желтый воск поучение Василия Великого: «Научись, верный человек, быть благочестию делателем... жить по евангельскому слову... очам управление, языку удержание, телу порабощение, помысл чист имей, гневу укрощение... побуждай себя на добрые дела Господа ради. Лишаем – не мсти, ненавидим – люби, гоним – терпи, хулим – моли, умертви грех...»

Несда любовно, с завитушкой вывел «хер» в последнем слове, и сейчас же в затылок ему влетел подарок. Ужалил так сильно, что из очей брызнули слезы. Вскрикнув, он получил еще – на плечи обрушилась греческая трость отца Евагрия.

– Языку удержание имей! – напомнил учитель и стал диктовать далее.

Согнувшись под ударом, Несда низко наклонил голову, скосил взгляд назад, через плечо, увидел хмылкую рожу Коснячича, сына тысяцкого Косняча. Пониже рожи был выставлен грозящий кулак, из-за вощаницы на столе виднелась трубочка для плеванья. Несда закрыл глаза, послушал стихающий шум в голове, взмолился о враге своем: «Господи, мало Ты дал ему, мало и взыщи с него». Крепче сжал писало.

«Пред старцы имей молчание, пред мудрейшими послушание, с равными любовь, с меньшими любовное совещание и наказание...» Книжные словеса имели власть над ним. Забывалось тотчас все постороннее, не имеющее отношения к письмам, к древним отеческим преданиям, к историям, рассказанным давным-давно, к мудрости, изроченной устами святых праведников. От усердия при письме высывался кончик языка, отец Евагрий раздраженно тыкал ему тростью в губы, порой разбивал в кровь. Не помогало: язык не удерживался. Полного презрения со стороны наставника удавалось избегать по единственной причине: Несда был лучшим учеником.

Тысяцкий сын Коснячич ненавидел его всей душой, широко, с вымыслом. Придумал прозвище – Ученый осел. Однажды преподнес ему проволочный венец с длинными зелеными ушами из лопухов, в обилии водившихся на митрополичьем дворе. К проволоке был прикручен кусок коры с надписью: «Первый среди ослов». Несда повертел венчик в руках, переспросил:

– Значит, я первый среди вас?

За это поплатился: принес домой два рдеющих налива под глазами. Коснячич не терпел покушений на свое самолюбие. Смирение не возвышало его душу, зато обременяла житейская гордость. Отец Евагрий не ласкал Коснячича тростью с тех пор, как отрок прошипел под его занесенную руку: «Я велю холопам, они зарежут тебя под забором, как свинью». Внушение остудило грека, а затем пошло по кругу в обратном направлении: Евагрий побежал жаловаться к попечителю отцу Каллимаху, тот доложил митрополиту, от владыки внушение побрело к князю, от князя шлепнулось холодной каплей за ворот тысяцкому. Неведомо осталось, каким путем оно возвратилось к боярскому детищу – через уши или иные части тела. Однако с того дня Коснячич и Евагрий делали вид, будто равнодушны друг к другу.

Учитель велел отложить вощаницы, стал рассказывать о деяниях царьградских василевсов. Несда слушал прилежно. Лишь иногда на уроках к нему приходило недоумение: отчего грек никогда не говорит о деяниях прежних русских князей и великих каганов – Владимира, Ярослава? В греческом хронографе, сиречь временнике, Иоанна Малалы о них не прочтешь. Лишь в труде Георгия Амартола есть скупые слова о русах. Но при владычном дворе киевские книжники записывали древние сказания о князьях земли Русской, о походах на Царьград, о том, как утер пот князь Владимир с дружиной своей, много потрудившись на благо Руси. Для Евагрия всего этого будто не существовало. Несда слышал, что византийские ромеи считают Русь варварской страной и свое пребывание здесь мнят подвигом веры. А между тем дальше Чернигова и Новгорода боятся сунуться. В Ростове после изгнания язычниками епископа Феодора полста лет назад ни единого грека больше не видели.

– Кто из вас скажет мне, как звали византийского василевса, просветившего Русь Христовой верой?

Обмирая от шевельнувшейся в сердце обиды и взявшейся невесть откуда дерзости, Несда поднялся со скамьи. Побледнел, прижал потные ладони к портам.

– Апостол Руси есть Андрей, по прозвищу Первозванный. – Никогда собственный голос не казался таким звонким, высоко подскакивающим. – От Корсуня святой Андрей поднимался по Днепру и, утвердив на горе крест, предсказал явление города великого. Город тот осияет благодать Божия, и воздвигнутся в нем многие церкви. Так и исполнилось. Киев...

– Что такое?!!

Отец Евагрий придвинулся вплотную, навис, как грозовая туча, вздел трость. На бледном лице учителя взыграли красные пятна. Несда втянул голову в плечи.

– Откуда взялась оная глупость?!

Трость поднялась выше.

– Отец сказывал, – пискнул Несда.

– Ах отец-е... – Евагрий с мучительным торжеством во взоре оглядел учеников, притихших в ожидании бури. – Кто же твой отец? Великий Омир? Новый Геродот? Или Прокопий Кесарийский? А может, Евсевий Памфил? Георгий Амартол?

Потрясенный предложенным выбором, Несда пролепетал правду:

– Он купец. Торговый человек.

– Купец?!!

Трость бухнула об половицу, едва не проломив доску.

Евагрий гневался долго. Стучал палкой по столу и по лбу Несды. Брызгал слюной, ругался «варварами», «невегласами», «лесными дикарями», что было неправдой. Всем известно: киевские поляне издавна живут в полях, оттого и прозвались так.

Даже язычниками обзывал. И это тоже была неправда. По крайней мере, полуправда.

– А отцу то поведал в Ростове владыка Леонтий, – совсем тихо изрек Несда, так что никто и не слышал.

Достоинство учителя Евагрия заключалось в том, что он всегда, даже во гневе, помнил о собственных грехах. Внезапно оборотившись к иконе в углу, он широко перекрестился и по-гречески молвил покаянную молитву. Затем велел:

– Вон с глаз моих...

Когда Несда подошел к двери, он передумал:

– Нет, постой... Ступай в библиотеку, принеси книгу «Шестоднев» Иоанна Болгарского.

За дверью Несда перевел дух и, пока шел по внутреннему гульбищу огромного собора, попросил у Господа даровать разумение – отчего так разъярило учителя апостольское пророчество. Святой Андрей благословил землю, на которой через века возрос Киев. Воссияла благодать. В чем тут варварство и язычество?

Он миновал палаты училища, где занимались старшие – богословы и риторы. Верхнее просторное гульбище опоясывало владычный храм с трех сторон. Кроме училища здесь размещались митрополичьи и княжьи покои, книгописная мастерская, казна, хранилище древних харатей, книжня, по-гречески библиотека. Сквозь окна в купольных барабанах голубело небо, впервые за три седмицы. Гнилое лето вот-вот встретится с осенью.

Несда толкнулся в дверь книжни. Здесь всегда и на всем почивала дивная тишина. Полки вздымались до потолка, прогибались от тяжести. Книги, от величины в пол-локтя до огромных, одному не удержать, вызывали и разные чувства. Малые умиляли, исполины рождали трепет, с прочими Несда ощущал себя на равных. Волнующе пахли переплеты, обтянутые в кожу, запорошенные пылью от долгого лежания. Тонкой струей вкраплялся аромат чернильных орешков и недавно выработанного пергамена. Сквозь книжную тишину не сразу пробивалось посапывание задремавшего за работой чернеца.

Несда подкрался к столу, заглянул через плечо короткобородого, но сильно власатого монаха, спавшего с поднятой головой. Прочел недоконченную фразу: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Чернец переписывал книгу проповедника Екклесиаста. На широком поле листа рядом с ровным столбцом кривилась отсебятина: «Ох, горе мне, грешному и унылому. О бращне помыслы, голову в сны клонит».

Монах очнулся, уставил на Несду мутные глаза.

– Чего?

– Мне бы «Шестоднев» Иоанна Болгарского. Отец Евагрий послал.

– Ну, послал так послал.

Чернец с костяным хрустом потянулся, зевнул, перекрестя рот, показал пальцем, поросшим рыжей шерстью.

– Там возьми.

Несда подошел, коснулся ладонью корешков, провел по бугоркам переплетных ремней. Он стоял задом к монаху, чтобы тот ничего не увидел. В отношении книг Несда чувствовал стыдливость, какую отроку его лет полагалось испытывать с девицами. Но девицы до сих пор не занимали его сердца, и книги царили в душе безраздельно. Он нашел «Шестоднев», прижал к груди и замер, переживая миг счастья.

В доме отца книг не хранили, не берегли как зеницу ока. Для купца средней руки, недавно наладившего торговлю с Новгородом и Корсунем, это была невозможная роскошь. Несда владел лишь старенькой Псалтырью, которую подарил на прощанье ростовский епископ Леонтий.

– Чего там возишься?

– Да я... – Несда повернулся. Робея, выдохнул, зачистил: – Дивлюсь тайне. Отец Никодим говорит, книгами Дух Божий глаголет. А в Евангелии от Иоанна сказано, что слово есть Бог. Как столь малые письмены вмещают столь великое?

– Эх... – Чернец покачнулся на высоком сиденье. То ли икнул, то ли задумался. – Сие не тайна. Брюхо вот, – мохнатый палец уперся в круглый бугор под рясой, – тоже мало, а будто бездна. Око невелико, – монах потер в глазнице, – а зрит много всякого. Человек ничтожен, горсть праха – а желает приобрести весь мир.

Несда рассуждению подивился.

– Отец Никодим говорит, это похоть плоти, похоть очей и похоть разума.

– Гордость житейская. – Чернец махнул дланью. – То не Никодим, то Иоанн Апостол. А читал ли ты, отрок, в Писании: блаженны алчущие и жаждущие правды? Бездна врачуется другой бездной! – Шерстяной палец встал прямо, указуя в небо. – Кто жаждет духа, не алчет праха. Господь дал жажду, дал и потребное для ее утоления. А кому какое по нраву, сие каждый сам решай. Уразумел?

Несда внимательно глядел на черноризца. Тот посмеивался в бороду.

– Уразумел.

В книжню поскреблись, в дверь заглянула голова поповского сына Епишки.

– Отец Евагрий снова серчать надумал, – недовольно сообщил он. – Чего так долго-то? Небось не в княжьи хоромы послан.

2

– Здесь он. Помирать собрался.

Дворский кметь оттопырил губу, ушел в сторону, сел на перевернутую телегу и принялся чистить ветошкой и без того чищенный холопом меч.

Даньша поглядел через узкое, в полтора кулака окошко. В порубе было темно и глубоко. Несло отхожим духом. Где-то там внизу что-то глухо ворочалось.

– Эй! Кто живой есть? – позвал Даньша.

Иных звуков не было. Даже ворочаться перестало.

– А может, помер, – буркнул княжий отрок, – пока я за тобой ездил.

Всем видом кметь пытался втолковать окружающим, что невзначайная погибель старшего дружинника, заточенного князем в поруб, является для него смертной обидой. Глядеть за узником поручили ему. Кормить и поить тоже. Чтоб не совсем затосковал. А тот захотел вдруг протянуть ноги. Что князь-то скажет?! Уморили, скажет, моего Душилу...

– Я те дам – помер, – погрозил Даньша. – Лучше объясни заново, как он в поруб угодил. Я чего-то не совсем понял.

– Чего тут объяснять. Слыхал небось, к князю латынские послы прибыли, дочку сватают для ихнего короля.

– Ну.

– Ну и перепились на пиру. Душило и этот... рыцарь Ромуальд. Пошли ворон стрелять. Там их и повязали. Не сразу, правда.

– Это кто тут мне кости перебирает?! – зычно громынуло из поруба.

Даньша обрадовался:

– Ну вот, а говоришь – помирает. Кто помирает-то?

– Даньша, брат крестовый! – взревело в порубе. Бревна задрожали.

– Душило, упырь ты мой родной! – Даньша одной рукой облапил оконце, как бы обняв друга. Второй руки у него не было, рукав суконной свиты заткнут за пояс. – Где ты, не вижу...

– Да тут я, не достать до окна, яма глубокая... Савка тебе чего наплел про меня? Все брешет. Не так было.

– А как?

– Князь на меня разгневался. Я пятерых из младшей дружины покалечил.

– Семерых, – уточнил Савка.

– Ты уж там молчи, смерд.

– Я не смерд.

Кметь оскорбился и ушел. Из-за сруба кладовой клетки торчал лишь его нос.

– Шестерых покалечил, – поправился Душило. – Так они сами... Нечего под руку лезть, когда я из лука стреляю. Не люблю я этого.

– Для чего по церковным крестам-то стрелял?

– По крестам – не знаю, наговор это. Бояре меня не любят. Поклепничают князю. Мы с рыцарем Мудальдом по воронам били. На спор. Я не виноват, что они все по крестам сидят. Как будто в Киеве больше сидеть негде. И рыцарь этот... Если б я не выпил столько меду, я бы ему голову скрутил. Чего он... А так я добрый.

– А чего он?

– Сперва новгородскому епископу козу строил, думал, никто не видит. Епископ, больной, затеял прю с латынцами о вере. Как будто в Киеве больше негде прю устроить, на пиру у князя надо.

– Про что прю? – заинтересовался Даньша.

– А что нечего наших княжон под римского папу отдавать. Игумен Федосий нашему князю про то же целый пергамен измарал. Про поганую латынскую веру. Да толку... После того рыцарь Мудальд услышал, как песельник про Вещего Олега гусли дерет, и сказал, что ничего не было.

– Как так не было?!

– Вот и я тоже: как так?! А он: в грамотах ихних христианнейших королей и римских пап о взятии Константина-града вашим князем ничего не сказано. И про прибитый на ворота щит тоже ничего... – В порубе на короткое время стало тихо и задумчиво.

– А на ворон как перешли?

– Кто ж теперь знает... Даныша... Ты помнишь, как я на Немиге, когда против Всеслава ходили, князя от верной смерти спас?..

– Как же не помню! Я там руку оставил.

– А теперь он ко мне не хочет прийти... попрощаться... Я уж этого посылал, Савку...

Голос, доносившийся из поруба, совсем ослабел.

– Душило, эй, ты чего там? Вправду помираешь?

Даныша попытался просунуть голову в оконную щель.

– Мыши тут... В дождь грязи по колено... Когда схороните, ты мою жену себе возьми. А детей мы с ней не прижили...

– Так я женатый, забыл? – удивился Даныша.

– И дети есть?

– Как не быть.

– Ну, тогда пускай Гавша мою Алену за себя берет. Годов-то ему сколько, братищу твоему?

– Годов-то ему хватает. Только Гавше нужно девку с умом и с норовом сватать. Чтоб могла запряхь этого жеребца. Пока не сыскалась такая.

Отрок выглянул из-за клетки, прислушался. Обычное дело: сидят двое старых дружинников на княжьем дворе, за тридцать годов каждому, вспоминают прожитое. Один безрукий, уже и не дружинник, а так, купчина вроде, другой в порубе.

– Эй, Савка! – гулко донеслось из темницы.

– Ну чего? – не сразу отозвался кметь.

– Меду принес бы.

– Не велено.

– Ну ладно, про смерда это я сгоряча, прости.

– А буянить не будешь, храбр? Поруб ломать?

– Когда такое было-то?

– Да уж было... – вздохнул Савка. – Ладно, принесу. Эй, ты, – позвал он пробежавшего мимо холопа, – за мной иди.

Воротился быстро. Холоп нес две малые глиняные корчаги. Савка обвязал горлышко одной вервием и протолкнул в оконце поруба. Едва пролезла.

– В поварне брал или в медуше? – спросил Душило, выбивая хлопком затычку.

– В медуше. Ключник сегодня не жадный.

– Ключник не жа-адный... А князь прижимистый... стал. Это я не тебе, Савка. Закрой уши.

– Да пожалуйста. – Кметь спустил вторую корчагу, вытянул веревку и ушел на свою телегу. – Очень надо, – донеслось оттуда.

– Так чего князь-то? – спросил Даныша.

– Князь-то? Мало меду выставляет. А вином грецким да пивом разве сыт и весел будешь?

– Да-а... – задумался Даныша. – А чего так?

– Старееет князь.

– Слышно, отроки его по селам лишнее дерут, напрасные виры придумывают, смердов злят.

– Кто ж за ними уследит. Балуют...

Об стену поруба что-то хряснуло. Пустую корчагу загубил, догадался Даныша.

– Ты-то как, брат крестовый? – спросил Душило между затяжными глотками.

– В Корсунь скоро пойду, людейный обоз с товаром поведу.

– И как оно – в купцах? – громко рыгнув, осведомился Душило.

– Да как... Своя сноровка нужна. А без нее – не то что без руки останешься. Ноги оторвут.

– А может, и мне в торговые люди податься?.. – загрустил Душило. – Ходить с обозами.

Тоже ведь – не веретеном трясти. Меч при себе, гирьки на поясе. Кошель на брюхе.

– Ты чего это? – всполошился Даныша. – А князь? Изяслав Ярославич наш?

– А князь сам по себе... Нужен я ему будто.

В порубе снова хлопнуло, осыпалось. Вторая корчага.

– Да! Ты ж помирать хотел? – вспомнил Даныша.

– Перехотел, – мрачно сказал Душило.

И стал буянить.

Стены поруба затряслись от крепких ударов. Бухало мерно, с расстановкой. Даныша спиной, прислоненной к сруб, чувствовал, как стонут в крепах бревна темницы.

Э-эх, по-над реченькой, да над широ-ко-ю-у...

Э-эх, спят-лежат вои хоро-бры-е...

Э-эх, да сном да крепеньким...

Непробу-удным...

Петь Душилу было тяжело, из груди рвалась надрывная горечь. Даныша поднял лицо к синему небу. Ему тоже захотелось меду, и чтоб песельники рвали струны гуслей, а скоморохи дудели в сопели и ходили вверх ногами, и стол был полон яств, и девки красные пригубляли заморское вино.

– Ну вот, опять. – К порубу подошел кметь, топыря губу. – Не надо было меду давать. Заклинался же не давать.

– Чем это он? Не покалечится сам-то? – спросил Даныша.

– А сапогами. Ежели поруб не обрушит, так и нечем там калечиться... Ни у кого таких сапог нет, – добавил отрок.

Э-эх, воронье да послета-алось...

– Не умеет пить. – Кметь осуждающе потрянул чубом. – А еще из лучших мужей.

– Ты бы, молодо-зелено, – нахмурился Даныша, – помолчал бы. – И опять поглядел в небо. – Душа веселья просит.

Э-эх, да в сырой земле лежать-почива-ать... —

тянули теперь уже вдвоем.

3

Новгородский епископ Стефан был недоволен. Князь киевский не слушал советов. Сам митрополит не мог его переупрямить, от епископа же Изяслав отмахивался, как от мухи. Чем я, говорит, хуже батюшки, великого кагана Ярослава, который со всеми странами Заката породнился через свое многочадие. Сына меньшого, Всеволода Переяславского, не абы на ком женил – на принцессе византийской, Мономаховне. Я же, говорит, всего лишь польскому князю двоюродным братцем прихожусь, а через жену – дядей. Это, считай, почти ничего, с ляхами у нас разговор особый. Могу хотя бы дочь в приличное королевство замуж отдать? Сколько ни увещевал епископ, что не подобает агнца, сиречь беспорочную девицу, в волчью пасть засовывать, все напрасно. Дружба с латынцами князю дороже спасения души собственного чада.

Четырнадцать лет минуло, как патриарх константинопольский Михаил Керулларий и папа Лев IX предали друг друга анафеме. За это время римское папство не только не покаялось в расколе со вселенской кафолической Церковью, но пуще продолжает лаять на нее. В гордыне своей само себя назвало кафолическим, а на апостольское православие клеветает, облыжно виня в ереси. При том разобраться в богословских тонкостях раскола под силу только людям хорошо образованным, здесь же, на Руси, таковых не обрящешь. Чернь по-прежнему погибает в язычестве. Бояре и те в нужде зовут волхвов. Князья... советов не слушают. Иные так просто от волхвования рождены.

Владыка поерзал в конском седле, живо вспомнив прошлогоднее разорение Новгорода полоцким князем Всеславом. Пришел с ратью, налетел, пожег, украл колокола со звонницы и паникадила из Святой Софии, увел полон. Тать в овечьей шкуре. Новгород своей отчиной зовет, под себя тянет. Не зря Всеслав среди невеж и черни слывет оборотнем. Облик человеческий, нутро волчье. Говорят, в калите на шее полоцкий князь носит ту мерзость, в которой вышел из утробы матери, – родильную рубашку. Будто бы так велели волхвы, от чьего колдовства и родился младенец. Тьфу. Епископ перекрестился. А в самом Полоцке при дворе Всеслава язычество силы копит. Да что в Полоцке. В Киеве на полоцком подворье тех волхвов обретается неслыханно. За князем своим прибрели. Чего доброго, выведут его из заточения. Кудесники, они могут. Бесовской силой творят кудесы.

Всеслав за свои дела теперь сидит вместе с сыновьями в порубе на киевской Горе. Хоть и зло поступил с ним Изяслав, нарушил братское крестоцелование, а все же так спокойнее. Да и то рассудить: не силен ли Бог всякое зло к правде обратить?

В Киеве Стефан оказался по делам своей епископии. А тут сватовство латинское. Митрополит Георгий в вере крепок, умом сообразителен, а волей слаб. Не такие владыки нужны на Руси. Здесь слово должно быть со властью, а власть с силой и твердостью. Своими новгородцами, от бояр до холопов, епископ Стефан так и управлял. Особо теперь, когда князя в Новгороде не видали с прошлогоднего ратного Всеслава нахождения. Мстислав Изяславич бежал с позором перед битвой, и битву проиграли. Больше самовольные новгородцы Изяслава племени к себе в князья не хотят. И с этим тоже епископ в Киеве оказался – договариваться о князе. С ним для верности отправлено малое посольство от вольного города – бояре да гости торговые. Те на Новгородском подворье разместились, в Копыревом конце. Ну а епископская честь – в митрополичьих хорах у Святой Софии почивать.

После беседы с князем у епископа болел живот. Хотелось слезть с коня и полежать, но дорожных носилок не было. Конные холопы позади вполголоса ругали княжью челядь. Бревенчатая мостовая утекала впереди под своды Софийских ворот и спускалась круто вниз. Гора – старый город князя Владимира – была окольцована стеной лет сто назад, а теперь составляла лишь малую часть Киева. Укрепления давно не поновлялись и местами сгнили. Несмотря на

бурканье в животе, владыка отметил, что новгородцы за своим детинцем следят куда заботливей, нежели киевские люди. Здесь князь всему голова. А у князя хлопоты – дочку получше спровадить и осрамившегося Мстислава обратно подсунуть новгородцам. Еще говорят, князь любит на вечерней зоре прийти к порубу Всеслава и побаять перед сном о чем ни то. Раскаянье, что ли, его грызет?

Выехали из ворот. Боярские усадьбы с обеих сторон, долгий тын из островерхих кольев. Хоромы у всякого на свой лад, от пожара обмазаны глиной, побелены, только кровли темнеют.

– Тпрру-у-у!

Конь встал – и ни с места, прядает ушами. Епископ вертит головой, не понимает, в чем причина.

– Эй, погорельцы новгородские, чего рты разинули?

Четверо каких-то, холопьяго вида, в посконине, вылезли из проулка, стоят, творят над владыкой посмехи.

– А мы вам князя нашли, самого лучшего, другого и не надо искать.

Расступились, вытолкнули вперед кобелька на веревке. Пес дрожит, твякает, пятится, хвост завернул кренделем. Его пинают под плюгавый зад, в ноги Стефанову коню.

– А не нравится, так все одно лучше, чем Мстислав. Вишь, гавкает. Смелый. Не удерет.

– Какие это псы на меня зловонные пасти раскрыли? – загремел владыка голосом, каким возглашал проповеди в новгородской Софии. – Чьи рабы?

– Полоцкие куражатся, – подсказали собственные холопы, которым поношение тоже не понравилось.

– Чего стоите, отгоните их, – сердито сказал епископ. – Они потому такие храбрые, что двор полоцкий тут рядом.

Кобелек, отважившись, затыкал в полный голос.

– А не то идите со всем Новгородом под нашего князя Всеслава, – не унимались наглые рожи. – Он послушных не бьет.

– Сперва из поруба пуццай выберется, если не сгнил там еще.

Двое Стефановых холопов тоже озверели, морды перекосили и повынимали мечи из ножен. Полоцкие разбежались вокруг по одному, приплясывали от нетерпения. Вытащили кистени, у одного в руках явилась дубина. Подготовились заранее. Видно, что обучены драться. Кистенем сразу зашибли одного из холопов, стащили с коня, подобрали меч. Второй сам прыгнул, прижался спиной к тыну, ощерясь, делал выпады.

Владыка отъехал немного и поймал за шиворот мимохожего парубка, глазевшего на стычку.

– Быстрее беги за сторожей.

Тот поскакал, сверкая голыми пятками.

Из-за тынов выглядывали головы, галдели. На улице останавливались поодаль боярские отроки, ремесленный и прочий люд, парубки.

Окровавленного холопа со смехом дожимали вчетвером, вот-вот оприходуют кистенем. Поглядев на его отчаянье, владыка учудил: подъехал ближе, вздыбил коня на задние ноги и обрушил передними на головы разбойников. Один упал и больше не встал, его прирезал Стефанов холоп. Трое, брызнув из-под копыт, с дикими криками забросили кистени, зацепили епископа ремнями с гирьками, скинули на брусью мостовой.

Пока боярские отроки с ближних дворов решали, вмешаться ли в дело, унять ли борзых холопов, нагрянула городская сторожа. Конные ратники со свистом разогнали толпу, оголили мечи. Двоих полоцких, замешкавших над побитым епископом, зарубили сразу. Последний, самый прыткий, добежал до пересечения улиц возле бревенчатой Мироньевской церкви. Здесь его нагнал вершник, коротко махнул мечом. Тело с разрубленной головой привалилось к тыну. Полоцкие бояре сегодня не досчитаются своего имущества.

Спрыгнув с коня, ратник вытер меч о холопью посконину, снова взлетел в седло. Короткая погоня доставила ему удовольствие, хоть и не стоил раб затраченных на него усилий. Надо же, удумали епископа в дорожной грязи извлекать. Совсем полоцкие ошалели. Без своего-то князя кому хорошо живется. Даже холопы дичают.

Вершник повернул коня назад, но вдруг натянул удила, провожая взглядом молодку. Женка из нарочитой чади, наряженная в паволоки и серебро, возвращалась с торго. За ней плелась холопка, позади пыхтели два парубка, тащили полные корзины.

– Гавша! – Дружинники из сторожи звали ратника, чтобы возвращался.

Он в ответ отмахнул рукой и шагом направил коня вслед молодке. Женка оборачивалась, с чуть заметной улыбкой цепляла молодца быстрыми глазами и то начинала спешить, то шла совсем медленно. Гавша слышал серебристое звяканье подвесок-рясен и ловил ноздрями аромат византийских благовоний. Лукавая баба брала с собой на торг слепую и глухую старуху-няньку.

Лишь у ворот, за которыми скрылась женка, Гавша догадался, за кем уволокся: признал усадьбу воеводы Перенег Мстишича. Княжий муж не так давно справил свадьбу, оженился вторым разом. Но, видать, плохо умел потешить молодую. Напоследок она неприметно кивнула ратнику и мгновение помедлила у открытой воротины.

Гавша спешил, увидев на мостовой под ногами коня нечто блеснувшее. Молодка украдкой потеряла серебряное рясо. Гавша усмехнулся: нужно вернуть его хозяйке. Веселый выдался день.

– Никак жениться сдумал?

Княжий отрок сжал в кулаке подвеску, обернулся. На него ясными глазами взирал поп Никифор, клирик церкви Богородицы Десятинной.

– На ком тут жениться, батько, боярин Перенег дочек не завел.

– А коли так, чего тут высматриваешь? Иль холопка какая ни то глянулась?

– Это, отче, не твое дело. Некогда мне.

Гавша хотел сесть на коня, но поп остановил его за плечо.

– Епитимью исполняешь, какую я тебе положил?

– Исполняю, а как же. Две седмицы мяса не едал, аж тошно стало.

– Оженишься-то когда? – помягчел клирик.

– А зачем? Мне и так хорошо.

– Ятрам твоим нехорошо, – строго сказал поп. – Не в свои стойла всё метят.

– Так это дело молодое, батько.

Гавша подтянул подпругу седла, нетерпеливо ткнул ногу в стремя. Глядел скучно.

– Смотри, поклоны бить в другой раз велю, – безнадежно погрозил поп.

– Ну и отобью.

– Женись, а? – ласково попросил отец Никифор.

– Так ведь бить буду, жену-то, – полувопросил Гавша.

– За что ж сразу бить?

– А за что ни то. Перво-наперво, чтоб тебе, отче, на меня не сказывала. Знаю же, как у вас, попов, заведено на исповедях выпрашивать.

Гавша взметнулся в седло.

– Муж и жена едина плоть, – объяснил клирик. – Оба несут единый крест.

– Ты, батько, скажи лучше, – отрок нагнулся к попу, – пошто мне брюхо свое мучить, коли душа не в брюхе?

– А как же еще вас, зверовидных, к кротости приводить? К душе дорога через утеснение брюха лежит.

Гавша подумал.

– Мяса две седмицы в нутро не кидал. А нынче, батько, я холопа зарубил.

Он вытянул меч и показал, как зарубил.

– Хрясь. Башка пополам. Во так.

Поп шатнулся от клинка.

– За раба по закону русскому не казнят, – сказал, помедлив. – Перед Богом тебе держать ответ. Покайся.

– Покаюсь, – равнодушно обещал Гавша и пустил коня вскачь.

4

После чтения «Шестоднева» Иоанна, экзарха Болгарского, отец Евагрий распустил учеников по домам. Сказал, что дьякон Ионафан захворал и занятий по греческому языку не будет. Мальчишки собрали вощаницы и писала в котомки, чинной гурьбой спустились с верхнего гульбища, а внизу разделились с шумом и толканьем. Поповские отпрыски и прочие, кто победнее, побежали вперегонки к воротам владычного двора. Боярские сынки и остальные из нарочитой чади отправились к коновязям, где поджидали холопы с куском пирога или ветчины в плетенке – чаду подкрепиться перед обедом. Верховод Коснячич собрал вокруг себя малую дружину товарищей и поджидал у лестницы. Несда, как всегда, спускался последним – не любил бестолковых забав, которые случались среди учеников после занятий.

Заметив шайку, он остановился на предпоследней ступеньке, посмотрел исподлобья. Коснячич был настроен как будто миролюбиво. Хотя улыбка на его присыпанном веснушками лице обещала мало хорошего.

– Иди, не бойся, – позвал сын тысяцкого. – Мы тебя не тронем. Ты нынче храбрец.

– Почему?

Несда спустился с лестницы, прижал крепче к боку котомку. Если все же станут бить, ни за что не выпускать ее из рук. Там драгоценная Псалтырь, да еще разобьют вощаницу, а в ней наспех, по памяти, записанный кусок «Шестоднева». Понравившийся. «И сего не разумеешь, откуда произошли человеческие образы, и чудно Божьему творению, как столь многочисленны личины, и нет ни одного человека, подобного другому. Если и до края земли дойдешь, ища такого же – не найдешь; если и найдешь, то будет или носом не похож, или глазами, или иным чем; даже и от единой утробы рожденные не походят друг на друга...»

– Здорово ты Евагрия разозлил, – улыбался Коснячич. – У него аж пасть дергаться стала и пятна по роже пошли.

– Я не... я вовсе не хотел.

– Он не хотел, – ухмылялась дружина. – Он Евагрия любит. Ученый осел.

– Цыц вы. Все равно он храбрец. – Коснячич придвинулся и закинул руку на плечо Несды. – Я с ним после этого дружить хочу.

От такой дружбы Несда ожидал лишь подвоха. Но руку неожиданного друга сбрасывать не стал.

– Правда? – спросил только, посмотрев в близкие глаза Коснячича.

– Правда. Пошли. Покажем тебе кой-чего. Да не бойся, понравится.

Дружина согласно кивала.

Всей компанией отправились по нижнему гульбищу вокруг храма. Тысяцкий сын держал Несду за плечи, будто боялся, что убежит. Говорил:

– Вот давно хотел спросить тебя. У тебя же батька купец?

– Купец.

– Лавку в торгу имеет, обозы с товаром снаряжает. Так?

– Так.

– А братья у тебя есть?

– Сестренка.

– Вот видишь. Единственный сын. Что ж тебя батька не оденет получше? Ходишь в поскониине, будто смерд или холоп какой.

– Жадный батька-то! – засмеялись в дружине.

– Не жадный, – твердо сказал Несда.

– Не любит тебя? Так если за училище платит, значит, любит.

– Любит. Одежда хорошая у меня есть.

– И чего? – не понимал Коснячич.

– Так, ничего. – Несда смутился. – Мне в этой удобнее.

– Вот соврал так соврал, – захохотал Коснячич, хлопнув его по спине.

Несде и впрямь захотелось убежать.

– Ну вот, пришли.

Коснячич остановился у одного из столпов гульбища.

– Гляди.

– Куда?

Несда стоял носом к опоре, но ничего не видел, кроме гладкой поверхности камня, из которого сложен собор, и розовой извести.

– Да вот же. – Коснячич показал пальцем.

Сперва Несда ничего не понял. Смотрел на процарапанный ножом рисунок и не мог разобраться в переплетении линий.

Потом, с дрожащими губами, обернулся. В глазах стояла изумленная обида. От волнения не мог выговорить слова:

– З... з... зачем?

– Это не мы, Несда, – невинно сказала дружина. – Мы просто нашли.

Кто-то, да отсохнут у кощунника руки, осквернил Святую Софию рисунком на тему «муж да любит жену свою». Или не муж. И не совсем жену.

– Зачем на храме? – выкрикнул Несда и сжал кулаки, будто собирался броситься на мерзко хихикающих обидчиков.

– Мы не знаем, – смеялись мальчишки. – Мы просто тебе показать.

– Мы думали, ты не знаешь, откуда дети рождаются, – громче всех заливался Коснячич. – Верно, думаешь, что их Бог в раю лепит из праха и в капусту подбрасывает.

Несда пытался затереть рисунок рукавом, но тот лишь четче обозначался.

– Что ты делаешь! – насмеялись боярчата. – Это же твой родич. Гавша. Это он. Точно он. С черницей сблудил. А митрополит за это виру с него. Сто гривен за порченную монашку!

– Дурачье, – скрипнул зубами Несда.

Коснячич перестал смеяться.

– Ладно, хватит, – бросил он дружине. – А то сейчас расплатится. Пошли митрополичье вино пробовать.

– Как это? – удивились мальчишки, тотчас забыв про Несду. – Какое вино? Кто ж нам его даст?

– Давеча церковное вино привозили. Целый обоз. Мне знакомый холоп сказал. Мой отец продал его митрополичьему тиуну за покражу. Он и у митрополита что хочешь стянет и продаст. Мне обещался. Ну что, идете? Я церковного еще не пробовал. У нас в доме только зеленое вино подают.

– Как же не пробовал? А в причастии? – спросил самый маленький мальчик.

– В прича-астии, – передразнил его Коснячич и щелкнул по макушке. – В причастии оно водой разбавлено, да еще с хлебом.

– А крепкое оно?

– Вот и узнаем. Ты с нами иди, – велел Несде тысяцкий сын.

– Никуда я с вами не пойду.

– Почему это?

– Церковное красть – грех.

– А не церковное? – криво усмехнулся боярич.

– Тоже.

Коснячич подумал и выпустил изо рта струйку слюны – под ноги Несды.

– Ну и иди отсюда, – сказал злобно. – Лоб не расшиби на молитве.

Мальчишки гурьбой двинулись в ту часть владычного двора, где стояли хозяйственные и кладовые клетки, житницы, медуши.

Несда стер ногой плевков, набрал в горсть земли, мокрой после долгих дождей, и принялся замазывать ею срамной рисунок.

«...Мало Ты дал ему, Господи, мало и взыщи с него», – твердил он свою давешнюю молитву о гордом и неразумном Коснячиче.

По чести сказать, не так уж мало Господь дал сыну тысяцкого. Боярин Косняч, имя которого в Киеве мало кто помнил, а звали так, по отчеству, владел селами, рыбными тонями на Днепре и на Лыбеди, бортями и собственными ловищами, держал в торгах с десятков лавок, отправлял торговые обозы аж в Царьград и в сарацинские Хвалисы. Сам новгородец, он и среди оттудошних купцов-гостей был свой человек, а уж новгородцы в торговле знают толк. А какие хоромы на спуске Горы поставил тысяцкий! Весь Киев, от Лядских ворот до Подола и Оболони, сбегался лупить глаза, завидовать богатству и чесать злыми языками.

Не любил своего тысяцкого киевский люд. И князю Изяславу не с добром припоминали, что, придя из Новгорода на княжение, посадил на шею Киеву чужака-новгородца. Да не его одного. Половина Изяславовых бояр оттуда же: Микула Чудин, брат его Туки, тоже чудин, оттого имя чудное, и прочие. Косняч хотя бы в сродстве с князьями – дед тысяцкого, Добрыня, приходился дядей князю Владимиру. А те чудины не знамо откуда и взялись.

В ратном деле, во главе городского ополчения, тысяцкому не довелось по сию пору проявить себя. Князья не затевали больших войн, степь только зубы казала. А в межкняжьих распри свободный люд не встречал, если его не касалось напрямую. В прошлом году, к примеру, Ярославичи сборной ратью ходили в Полоцкую землю, воевать буйного Всеслава, после того как он пожег Новгород. Полоняников из того похода привели тьму, на торжище их продавали в челядины по серебряной монетке за штуку. Весь Киев обогател живым имуществом почти задаром – своих-то ополченцев ни одного в рать не посылали.

Зато в городских делах тысяцкий являл себя многообразно, и все не в пользу горожан. Под свой зад тянул что ни попадя. Рассудить на торгу купца с покупателем – оба выходят виноваты, оба плати тяжёбный сбор. Двор на пустыре отстроить – измучишься кланяться волостелю подарками: возьмет, а про дело забудет. Снова возьмет, и опять запомнит. Потом уж, после третьего-четвертого подношения, вспомнит, выдаст грамотку с клеймом. Приплывут торговые гости с товаром – мыто плати за каждый день. Купцам – со всякой плевой сделки отсчитывай сбор. Мытари шастают повсюду, звякают свинцовыми печатями на поясе, острым писалом, как ножом, метят в горло. Сущие разбойники. Торговле от этого сплошь урон, Киеву бесчестье, тысяцкому – княжий почет и сказочные хоромы.

Несде про все это сказывал отец, щипля от досады бороду. А у отрока своя досада – нравный Коснячич. И к отчету делу, к торговле, душа не лежит. Душа у Несды исписана книжными письменами.

Он обтер руку о траву и порты, быстро зашагал к хозяйственным клетям. Возле бани, построенной греками, как всегда, толпились, ждали очереди. До сих пор каменная мыльня была горожанам в новину, хоть и давно стояла. Появилась еще при кагане Ярославе. Греки, известное дело, срубных русских бань не признают. Тесно им там и страшно задохнуться в дыму.

Завизжали бабы, верно, передрались возле бани. В задних воротах двора встала телега, груженная горой мешков, за ней вторая такая же.

– Кто таков? Что везешь?

Стражник оглядел мешки, потом возницу. Смерд со стриженной бородой, в безрукавой чуне из овчины и в сапогах слез с телеги.

– Посельский тиун из Мокшанского села. Недоимки с десятины привезли.

– Проезжай, – лениво дозволил кметь.

Несда коротким путем протиснулся между строениями, прошел мимо конюшни, оглядел кругом и узрел затаившуюся в яблонях дружину Коснячича. Яблоки уже пособирали, на высоких ветках висели одни недоспелки, и полакомиться дружине было нечем. У них на уме свербело другое. Несда, согнувшись, будто так его никто не увидит, добежал до яблонь и прыгнул в густую сень.

– Зачем явился? – набычился Коснячич.

Несда молчал, глядя в упор на тысяцкого сына. Тот вдруг pokrивил губы в улыбке.

– Винца захотелось?

Несда упрямо мотнул головой.

– А-а, – прищурился Коснячич, – выдать нас пришел?

– Вас выдерут, если поймают, – хрипло сказал Несда. – Тебя-то не тронут, а их... – Он кивнул на оседлавшую ветки дружину.

– И тебя заодно, коли уж прибеж, – усмехнулся боярич.

Несда опять смолчал, беззвучно шевельнул губами. Если бы кто присмотрелся, прочитал бы снова: «Дурачье». Коснячич, сам не ведая, угадал его мысль. Несда не мог никому поведать о воровской вылазке, потому решил быть битым вместе со всеми.

– Идет! – раздался тоненький голос сверху.

Озираясь, к яблоням между клетями шел холоп с корчагой. Исчезнув на несколько мгновений, он появился с другой стороны, из-за ближнего амбара, торопливо нырнул под ветви, поставил корчагу на землю.

– Как договаривались, боярич.

Он протянул раскрытую руку. Коснячич пересыпал в холопью горсть три серебряные резаны.

– Только уходите быстрее, – посоветовал холоп, исчезая. – По двору сотник шляется. Не спится ему, видать...

Коснячич выбил из корчаги затычку и присосался к горлышку. Несда смотрел, как течет по его подбородку на шею и рубаху темно-багряная, будто кровь, влага. Кровь Матери Сырой Земли, добытая из заморской ягоды, превращаемая по действию Святого Духа в пречистую кровь Христову. Несда вдруг подумал, что за такое умствование отец Евагрий изломал бы об его спину свою трость, обругал бы идолопоклонником и дремучим сыроядцем. Старые боги не хотели покидать русскую землю, они были повсюду и против воли лезли в ум и на язык.

Коснячич утерся расшитым рукавом и протянул корчагу Несде.

– Пей!

Дружина взроптала. Тысяцкий сын не повел и ухом.

Несда взял корчагу и стал пить. Вино показалось кислым, с резким и неприятным вкусом, но если бы Коснячич не отнял корчагу, так и пил бы, сколько влезет.

– Хватит!

За корчагу ухватились прочие мальчишки, стали жадно хлебать, вырывая из рук, проливая и толкаясь. Вдруг кто-то крикнул:

– Сотник!

Корчагу в испуге бросили, кинулись кто куда: за амбар, мимо клетей, прямоком через двор. Несда со страху метнулся не в ту сторону. Головой угодил в упругий живот начальника владычной стражи и, словно клещами, был схвачен за шею. Он зажмурился и подумал, что сейчас умрет: в ногах разлилась противная слабость, земля качалась и плыла.

– Кто, говоришь, владеет селом? – прозвучал между тем вопрос.

– Федосьев монастырь, – ответил голос давешнего посельского тиуна, притащившегося с недоимками.

Несда приоткрыл глаз и увидел колесо телеги. Сотник, оказалось, и не думал ловить винокрадов. Он стоял посреди двора у клетей и разговаривал со смердом. Телеги уже разгрузили, на второй лупили подсолнушное семя два смердых холопа, шелуху робко складывали в торбу.

– Дорога туда какая? – расспрашивал сотник. Шею Несды он держал крепко, та уже принялась ныть.

Тиун с подробностями описал путь до села, не забыл упомянуть битую молнией сосну у росстани и шаткие мостки через безымянный ручей.

– Небось и колдун в селе имеется?

– Колдун? – посельский почесал под рубахой. – Дак утопили колдуна о прошлом лете. Сено не сберег, все погнило от сырости... А так-то... знахарь есть. Иные бают, тоже колдун, так я тому не верю, а сам-то он не сознается. Бабы-ворожейки имеются, как без них. Да чернец ходит, из монастыря.

– Тоже, что ли, ворожит? – усмешливо спросил сотник.

Несда вспомнил его имя – Левкий, по прозванию Полихроний. Родом исаврянин, из грецких земель, и по-гречески звался не сотником, а комитом. Под рукой комита была вся Софийская дружина, сторожившая покой митрополита и церковное добро: дворские отроки, гриди, мечники, вирники, сборщики владычных даней и прочие кмети. Левкий всегда ходил с коротким мечом, носил узкие греческие порты, расшитые узором, и богатые византийские рубахи, звавшиеся туниками. Курчавую голову никогда не покрывал и, от природы смуглый, летом под солнцем темнел дочерна. Тогда делался похожим на ефиопа, которого Несда видел однажды в торгу среди прочего товара, завезенного ромейскими купцами.

– Ворожейство у них, у чернцов, темное, – принялся толковать посельский, – простому человеку не внятное. Все шепчет да бабьи бусы в руке щиплет. Потом глаза закатывает. Вот так. – Тиун сделал страшную рожу, как у покойника. – И ходит ровно нежить. Тихо так крадется, а сам хватъ – и на дно-то утянет.

– Что – хватъ?

Клещи на шее Несды сжались сильнее. А в голове будто кувыркались пьяные скоморохи.

– Ну это я так, для примеру. Нежить она и есть нежить... Еще дуб священный в лесу стоит.

– Где?

Рука сотника внезапно разжалась. Несда чуть было не упал на карачки. Шатнувшись, почувствовал свободу и, заплетая ноги, побежал – опять не в ту сторону. Остановился, увидел впереди растворенные воротины и устремился к ним.

В конюшне никого не было. Кони хрустели овсом, шумно летали мухи. Несда ушел вглубь, туда, где было темно и прохладно, упал на гору сена, зарылся. Хмель в голове прекращал скоморошью пляску, зато налил свинцом веки и явился во сне нежитью в черной монашеской рясе. Нежить сидела в ветвях дуба, хихикала и бросалась желудями.

Потом он проснулся. Совсем рядом кто-то бубнил вполголоса:

– ...все равно как... лишь бы тихо. Утром его найдут, но вы будете уже далеко.

Несда узнал заморский выговор софийского комита.

– Мудрено будет – чтоб тихо... – Другой голос был грубее и громче. – Пискуп Степан полночи пред образами свечи палит и лбом об пол стучит. Добавить бы надо... за труд.

– Добавлю... потом, как сделаете. Что-нибудь сообразите вдвоем.

– Это ж когда – потом? К тебе, что ль, поскребстись опосля?

– Вот этого не надо, – жестко ответил сотник. – Есть место... Верстах в двадцати от Киева. Сельцо Мокшань. В лесу найдете священный дуб, там будете ждать.

– Обманешь, боярин?

– Какой я тебе боярин, холоп?! – Комит недовольно возвысил голос. – Меня сам протопроедр Михаил Пселл представлял в Палатии императору Константину Дуке!

– Ну не сердчай, ошибся маленько... – повинился тот, кого называли холопом. – А кто этот – проед осел?

Левкий не ответил на вопрос. После долгого молчания, он сказал:

– Если к утру новгородский епископ будет мертв, получите еще десять гривен серебром.

Несда одеревенел от неподвижности. Сильно хотелось есть, но он боялся пошевелиться еще долго после того, как в конюшне все стихло. Сердце кузнечным молотом билось в горле.

Ему стало жаль новгородского владыку, которому зачем-то и почему-то надо было умереть. Он понял только одно – за епископа следовало усердно молиться, чтобы Господь отвел руку убийцы. Или же облегчил страдание, а после принял в свои объятия блаженную епископову душу.

Отрок выбрался из сена, выскользнул во двор. Двое холопов выбивали пыль из лежалого тряпья. Гремел ключами ключник, раздавал работу прочим рабам. Несда во всю прыть, словно земля горела под ногами, помчался к Святой Софии. У главного входа остоялся, положил три креста с поклонами и тут попался в руки дядьке Изоту. Кормилец проглядел все глаза, поджидая его из училища, теперь же дал волю попрекам и холопым стенаньям, потянул к коновязи. Несда вывернулся, бросил на ходу:

– Ступай домой без меня. Приду сам позже.

Хоть и знал, что дядька один не воротится.

В огромном храме было пусто. Горело несколько свечей у алтаря, ползал служка, обтирая полы. Несда не верил, что где-то еще на свете есть такая роскошь и лепота, которая затмила бы богатства Святой Софии. Князь Ярослав, затевая храм по образу и подобию царьградского, верно, постарался переплюнуть греков-учителей. А уж константинопольские цари тысячу лет живут в роскошествах, понимают в красотах толк. Фрески и мозаики, покрывавшие стены собора, можно было разглядывать без счета времени. И всякий раз замирать, открывая прежде недоступное очам и разуму. Вспоминать похвалу великому кагану Владимиру и его сыну Ярославу, изреченную двадцать лет назад митрополитом Иларионом:

Он дом Божий великий Его святой премудрости создал
на святость и священие граду твоему,
его же всякой красотой украсил,
златом и серебром, и камнем дорогим,
и сосудами святыми.
Та церковь дивная и славная по всем окружным странам,
другой такой не сыщется во всем полуночье земном,
от Востока и до Запада.

О граде же Киеве, освященном премудростью Божьей, говорили письма, полукругом, будто радуга, накрывавшие заалтарный образ Богородицы: «Бог посреди него, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра».

Но теперь было не до мозаик и не до мраморной отделки. Несда встал на колени перед Божьей Матерью, без устали державшей поднятые на века руки. Хотел начать молитву и вдруг заплакал.

Уже болели колени и ныла спина, горячие слезы иссякли, а слова молитвы не шли на ум. На плечо легла чья-то рука. Он обернулся, спешно утирая под носом.

– Ты хорошо молился, – сказал отец Никодим.

Несда не поверил.

– Откуда знаешь, отче?

– Я слышал. Теперь ступай, тебя ждут.

Несда пошел к выходу и целиком вверил себя заботам пестуна, изнывавшего от голода. Безропотно дал усадить себя на коня, сжевал сунутый в руки пирог, не разобрав вкуса.

– Щи опять стылые хлебать, – бурчал дядька Изот, поторапливая свою серую кобылку. – И перепадет же тебе нынче от родителя.

– За что?

– Да как же за что. А за бездельное шатанье?

– Отчего ты думаешь, что бездельное? – построжел Несда.

– Я-то вовсе не думаю, – присмирел дядька. – Не холопье это занятие. Родителю твоему думать.

5

Двор купца Захарья стоял на речке Киянке в Копыревом конце, недалеко от Гончарного яра. Здесь же по соседству шумело торжище, одно из нескольких в Киеве. По праздникам там вертелись колесом скоморохи, давали кукольные представления и водили на цепи мишку. Вокруг было много пустоши, где гуляли гуси, выпасали коз, овец и коров, косили сено. Князь Ярослав строил свой город с большим запасом, на вырост, стенами широко обвел: плодитесь и размножайтесь, киевские люди, копите добро.

Щедрым был великий каган Ярослав, людей из других русских земель тоже звал на поселение. Освобождал на первых порах от мытных сборов. Еще и после него князь Изяслав Ярославич так же правил, щедро и христолюбиво. Это уж потом он своих бояр распустил, и процвело всюду лихоимство. А три лета назад было в небе знамение: звезда великая, с лучами словно кровавыми. Семь дней видели ее после заката и не к добру толковали. И верно: Все-славу стукнуло в голову идти на Новгород, лить кровь. После же того как его побили и заточили в порубе, князя Изяслава то ли старость одолела, то ли случилась иная причина: не стало от него Киеву ни единого доброго слова. Через бояр и мечников разговаривал с человеком, правил через волостеля немилостивого, тысяцкого Косняча.

Захарья еще в доброе время пришел с сыном из Ростова в Киев. Двор поставил, жену новую привел, торговлю завел, Несду в училище отдал – в купцах грамота первым делом нужна. Жить бы не тужить. Только сын начал выкидывать странности. В сукно и тонкие ткани рядиться не желает, упрямо ходит в посконных портах и беленой рубахе. Хорошо, не в лаптях. Однако и сапоги из ларя вынимает только по указке. Обычно же таскал кожаные поршни – новые не брал, пока не издерет до дыр старых. Верхом в училище и обратно ездить не хочет, бегают ногами, а за ним дядька ведет в поводу коней. На торг его не заманишь, а ежели приведешь силой, так удерет в книжную лавку – разглядывать картинки на пергаменах. Из училища приходит с побитой рожей, а меч, хотя б деревянный, в руках держать по сю пору не научился.

Бесталанный у меня сын, горевал Захарья и поглядывал на жену: когда принесет другого наследника. Пять лет прошло, а в приплоде одна девка. В этом году, правда, живот у Мавры округлился, и повивальня заверяла: сын будет. Захарья на радостях занялся бабьим делом: ставил на окно и во дворе кашу для Рода и рожаниц. К малопонятному Христу он бы не смог лезть с такими просьбами – разрешиться бабе от бремени и чтоб ничего худого с дитем не случилось. Старые боги ближе, домашнее, за кашу или петуха у них не зазорно просить что душе угодно.

...Дядька Изот зря пугал: за позднее возвращение Несде не перепало от отцова недовольства. Захарья был в торгу или на пристанях: на днях отправлял с шурином, безруким Данышей, свой первый обоз до Корсуня. Зато в доме гостил другой шурин, Гавша. Меч на лавку скинул, лазоревую свиту с себя стянул, вышитый ворот у рубахи ослабил, буйные кудри на глаза уронил, щеки хмельным медом разруманил. Несда зашел в верхнюю горницу – так и залюбовался неволей. Девки же от красавца Гавши сходили с ума. А про замужних вовсе срамное говорили: будто они рубахи обмачивают от горячих Гавшиных взоров. Несда, правда, этому не верил и разговоров таких не слушал.

Гавша зашел неспроста – ему хотелось похвастать. Глотая кашу из брюквы с мясом, Несда слушал про нападение полоцких холопов на новгородского епископа, про то, как владыку непочтительно поваляли в грязи, а потом прискакал Гавша и порубил озверевших холопов. При том разбойники сами были с дубинами и рогатинами, чуть не завалили Гавшиного коня. Пятерых он сразу отправил к предкам, еще троих пришлось ловить – гнал коня от Горы аж до самой Святой Софии.

Все это Гавша описывал весело и в лицах. Когда пришел Захарья и сел за стол, он повторил рассказ, пересыпав новыми деталями и посолив подробностями про епископово валяние в навозе.

Захарья сыто отодвинул от себя пустое блюдо, отряхнул с бороды крошки.

– Полоцким нужно Всеслава из поруба вытянуть. Против Изяслава на Подоле уже ходят толки, будто плохой он князь и нужен другой. Кто толки распускает? Вестимо, полоцкие. На Лысой горе новое капище объявилось. Какие волхвы там огонь держат и требы кладут? Полоцкие, слышать. Сам туда не ходил, другие носили – кто гривны, кто животину. От дождей жито гибнет, скот зимой без корма останется, так самое время к волхвам идти... Полоцкой дружине только случай нужен, чтоб в Изяслава зубами вцепиться и Киев на прю с князем поднять. А с епископом, думаю, это так, силы пробуют. Князя злят.

Гавша посмотрел Захарье в глаза, весело и жутковато спросил:

– Ну а если... вцепятся и рвать начнут... ты-то, зять, на какой стороне будешь?

Захарья налил в кружку пива, медленно выпил, обтер усы. Несда догадался: не знает, что ответить.

– Я на своей стороне буду.

Гавша нацедил себе еще меду, подергал на шее гривну. То ли проверял, крепко ль держится, то ли не привык еще носить дружинный знак.

– Оно-то, конечно, на своей. Да вот же незадача, своя сторона – она между князьями не бывает. Она или с одним, или с другим.

Захарья снова надолго умолк, остановил взгляд на выпуклом животе Мавры и разом обмяк. Затешилось что-то в его глазах и потекло, как расплавленный воск.

Несда потупился. Он чувствовал: беременность мачехи вносит в их дом нечто новое, чего пока нельзя угадать, но от чего заранее волнуется в жилах кровь. Если у него будет брат, он сможет отдать ему все деревянные мечи, ножи и игрушечные луки со стрелами, которые так и не нашли применения... и больше не слышать укоров отца. И забыть о ненавистной торговле. Уйти в сторону, забиться в щель, чтобы о нем забыли и не мешали... читать книги.

Гавша тоже смотрел на плодоносное сестрино чрево и тоже млел, но совсем по-иному. Несду вдруг напугало его лицо – на нем было выражение дикое и страстно жадное.

– Гавша, – позвал он, тупя глаза в стол, – хороши ли у новгородского владыки Стефана гриди?

– Для чего спрашиваешь? – Захарья отвлекся от созерцания беременного живота и устался на сына. Прежде тот никогда не задавал таких вопросов.

Несда зарозовел щеками.

– Хочу знать, почетная ли служба – охранять епископа.

Первый раз в жизни приходилось лгать, да кому – отцу. От переживания у него заалели даже уши.

– Служба почетная, но тебе ее не видать, – насмешливо сказал Гавша, – с твоим умением ронять из рук оружие.

Тщетно обучавший младшего родича воинскому делу, он давно понял, что тот заслуживает лишь презрения.

– А гриди у епископа хорошие? – упрямо повторил Несда.

– Пока он в Киеве, его охраняет митрополичья дружина.

Несда поник, но вдруг поднял голову и решительно сообщил:

– Я хочу научиться владеть мечом... и всем остальным оружием.

Захарья смотрел на сына, как древний Валаам на свою заговорившую ослицу. Надо же – жареный петух закукарекал!

– Ну пойдем, – хмыкнул Гавша.

Спустились вниз. Несда стал рыться в скрыне с деревянными игрушками. Гавша покачал головой.

– Бери мой.

Несда опасливо взял тяжелый стальной меч из Византии, с травленным узором на клинке. Немножко помахал.

– Не маши, это не дубина, – сказал Гавша.

Сам он вооружился мечом Захарьи, купленным у магометан в Хвалисах. На булатной стали голубым разводом туманился рисунок металла, навершие рукояти было в форме змеиной головы. Этот меч был предметом вождения Гавши и гордости Захарьи – а также тайного стыда: купец носил меч на поясе в виде украшения доблестного мужа, а не как боевое оружие. Применить его в бою он бы не смог. Несда всего лишь унаследовал его слабость. Потому обязан был преодолеть ее.

Вышли во двор. Гавша показал, что нужно делать. Несда не успел ничего понять, как меч вылетел из руки и шлепнулся в лужу. Дядька Изот достал, обтер, жалостливо посмотрел на дитё. Гавша объяснил еще раз, но едва скрестили клинки, Несда опять потерял оружие.

Гавша обругал его, отобрал меч и ушел в дом. На том обучение чада ратному ремеслу завершилось окончательно.

Кормилец, бывший смерд, когда-то хаживавший с княжьей ратью в степь на торков, утешал как мог:

– Ничего, жена и такого любить будет...

6

На закате Лядские ворота Киева выпустили две телеги и закрылись до утра. Посельский тиун из Мокшани был навеселе. Он хлебнул меду на постоялом дворе и не боялся пуститься в дорогу на ночь глядя. Холопы, которым не досталось меду, уговаривали обождать до рассвета. Тиун, именем Прокша, на них цыкнул, рыгнул, пустил ветры. Парубки выслушали и подчинились. Холопья доля несладкая, особенно если ты холоп у смерда.

Дорога шла у холмов вдоль Днепра. Днем она была людная. Впереди стояло княжье село Берестовое. Дальше обосновались Феодосьевы монахи. Через две версты от них князь Всеволод Ярославич отстроил свой двор, за приятность глазу прозванный Красным. Само же место называлось Выдубичи. Это оттого, поговаривали, что здесь выдыбал из реки свергнутый в Киеве идол Перуна. Хитрый князь Владимир, увлекший Русь в новую веру, велел сбросить идола в Днепр и не давать ему нигде пристать к берегу. Идол же всех перехитрил, и оттого те, кто верен старым богам, и теперь еще ходят туда на поклонение. Другие же говорят, что зря ходят, идол совсем не здесь вышел на берег, а далеко, за днепровскими порогами, в том месте, которое зовется Перуньей отмелью.

Ночью все, что двигалось по дороге, становилось добычей татей. Парубки на второй телеге жались друг к дружке спинами, вздрагивали от шороха камушков под колесами, от криков и хлопанья крыльев ночных охотников. Посельский тянул под нос песню, но вдруг перестал. Хмеля в голове осталось мало, а дрожи в теле прибыло, и вовсе не от сырого ветра. Вдоль дороги чудились невнятные говоры, бормотанье, тихие пересвисты. Но конь шел ходко, светил круглый месяц, впереди показались очертания Берестового. Слышались уже трещотки и шелкотухи ночных сторожей. Прокша взбодрился, прикрикнул на холопов, чтоб не спали.

От княжьего села до жилья Феодосьевых чернецов ехать чуть более версты. Но здесь на посельского нападала всякий раз дрожь особого рода. Монахов на селе опасались. Они были чужаки, хуже мертвецов. От злых духов, упырей, навей знаешь, чего ждать. Их можно задобрить, упросить не пакостить. Монах же существо темное, непознанное, враждебное ко всему стародавнему житью-бытью, ко всем обычаям, издревле освященным. Прежде бабы страшали малых детей полуночницами и русалками, теперь хнычущее дитё остерегают чернецом. Радостям житейским монах не привержен, сам себя морит голодом и жаждой, на игрищах воротит нос и говорит поносные слова. Как такое человеку стерпеть?

На беду, Мокшань попала в монашье владение. Киевский боярин Климент, сдурев, задаром отдал село монастырю. Прокшу оставили в посельских, заключив новый ряд. Монахи и не подумали бы, до того ли им, – сам настоял. Доход, пусть и небогатый, терять не хотелось. Только вместо прежнего боярского тиуна-управителя в село теперь пешком ходит чернец Григорий. Распоряжается всем – какой повоз возить монахам на прокормление, сколько сушить рыбы, сколько сеять жита и льна. Священный дуб грозитя срубить. Да кто ж ему даст. Тут уж камень на шею и быстро в реку...

В лунном свете завиднелась верхушка деревянной церкви с крестом. За высоким тыном прятались кровли монашских жилищ. Сбоку к монастырю был пристроен отдельный двор – здесь привечали, кормили, лечили убогих и калек. Вот куда идет мокшанское жито – приبلудным нищebroдам. Прокша плюнул в сторону двора. И на монастырь плюнул. Оградил себя охранным знаком, призвал духов-покровителей.

В тот же миг на телегу плюхнулось нечто. Вслед за тем упало другое нечто. Прокша обмер – сразу почуял: оборачиваться не стоит.

– Езжай как ехал, – раздался сиплый голос, – и молчи.

В спину пониже левой лопатки остро ткнулся металл. Посельский сжался, разом холодея и потея, соображая, чем откупить жизнь у татей. Отдать яловые сапоги или коней. За одного

коня можно купить двух челядинов. А сколько стоила жизнь смерда – об этом не говорила даже Русская правда, которую от неча делать зачитывал сельским монах Григорий. Рабы ценились дороже. Впрочем, посельский все же мог рассчитывать на то, что его голова оплачивается выше холопей.

Между тем тати ничего не требовали, сидели тихо. Дорога шла мимо тына монастыря, иногда подходила вплотную.

– Подъезжай ближе.

Телега притерлась к ограде, тати, подпрыгнув, перелезли на тын. Прокша подождал немного и, не веря удаче, хлестнул коня. Жеребец всхрапнул и резво поскакал. За ним приударила кобылка, которой правили парубки. Вспомнив о холопах, посельский хотел похвалить их за то, что не подняли крика – иначе могло кончиться очень плохо. Он обернулся. Парубки дрыхли в телеге – так сначала показалось. Потом тиун увидел, что они лежат друг на дружке. Он натянул поводья, кобылка ткнулась мордой в задок его телеги.

Парубки были мертвы. Их по-тихому прирезали. Посельский, трясаясь от страха, подумал, что татей было не меньше трех-четырех. Теперь они орудуют в монастыре, но скоро полезут обратно.

Прокша вытянул поводья из рук мертвого парубка и, торопясь, привязал к своей телеге. Потом взгромоздился на жеребца. Станут догонять – обрезать постромки и уйти налегке.

Внезапно тиун насторожился. Вокруг разлилось желтоватое сияние, озарило дорогу, холм и лес впереди. Прокша оглянулся на монастырь и едва не свалился с коня. Деревянную церковь объяло зарево, будто огонь. Но то было не пламя, а непонятно что. Посельский схватился за связку медных оберегов на поясе, зашептал молитву-заклинание.

Церковь стала вытягиваться ввысь. Потом над тыном плавно взмыло крыльцо. Тиун с ужасом понял, что монашья молельня оторвалась от земли и поднимается. Сейчас же из нее донеслось пение многих голосов. Если бы Прокша не был перепуган до колотья в боку, пение показалось бы ему сладкозвучным, медвяным. Такое услышишь только в царстве Ирия, где растет корнями вверх солнечный дуб и живет чудесная птица Гамаюн, предвещающая счастье.

Перемахнувшие через ограду тати уже не были так страшны, как поющее зарево в вознесшейся молельне. Прокша без движения смотрел, как трое разбойников с пустыми руками бегут по дороге и прыгают в телегу.

– Гони!

Посельский очнулся и успел заметить, как церковь стала опускаться, а сияние гаснуть. Он ударил коня плеткой по крупу.

Когда монастырь пропал за лесом, один из татей, стуча зубами, спросил:

– В-вы видели т-то же, ч-что я?

– Что это было-то, а? – пришибленно сказал другой.

– Волхвы такого не умеют, – выдавил третий.

Тиун промолчал. У него сильнее всех тряслись поджилки.

7

Утром в почивальню князя Изяслава Ярославича принесли скверную весть. Содеялось злое: в собственной изложне ночью удушен новгородский епископ Стефан.

Князь пятый день, как отправил латынских послов, сговорив с ними об отправке невесты, маялся резью в печени. Лекари поили его дрянными горькими зельями, однако боль не унималась. Лечцы успокаивали: для исцеления нужен свой срок. Но все это время, Бог знает сколько, корчиться от страданий?! Ждать не было сил.

Нынче на обедне князь желал приложиться к чудотворным мощам святого Климента Корсунского в церкви Богородицы Десятинной, а затем причаститься Святых Тайн. Потому с вечера Изяслав старался пребывать в душевном мире и любить своих врагов. И вот – от мира в душе не осталось ни следа.

Врагов невозможно любить. Они плюют в душу как раз тогда, когда открываешь ее пошире. Для них же открываешь! Накануне перед иконой Господа князь дал обет освободить из поруба Всеслава, только бы ушла проклятая резь. Теперь он станет нарушителем клятвы, что есть великий грех. Ведь после случившегося обет никак нельзя исполнить. В убийстве епископа виноват, конечно, Всеслав, больше некому.

Вчера князю донесли о стычке полоцкой челяди со Стефаном. Сегодня епископ мертв. Полоцких дружинников стало слишком много в городе. Они чувствуют себя здесь хозяевами. Их надо примерно наказать.

– Кого подозревают? – спросил Изяслав, морщась. Постельничий натягивал ему на ноги сафьяновые сапоги и чересчур дергал, тревожа больной бок.

– Пропали два раба из челяди епископа, – ответил тысяцкий Косняч. – Их ищут. Верно, князь, холопов подкупили Всеславовы бояре. И прятаться они могут лишь на полоцком подворье. Желаешь ли покарать зло?

Изяслав стоял с вытянутыми руками – постельничий шнуровал на запястьях зарукавья.

– У тебя ведь, боярин, – прищурился князь, – я слышал, своя обида на полоцких?

– Обида немалая, – нахмурился Косняч, – тяжело мне об этом говорить, прости, князь.

– А ты не говори. Ты делом скажи... Ты вот что сделай, Коснячко: возьми мою младшую дружину да ступай к полоцкому двору. Пошуми там, ворота выломай. Боярам, какие в руки попадут, бороды повыдери...

Изяслав сел на ложе, схватился за правый бок и громко простонал.

– Лекаря! – громыхнул в раскрытые двери Косняч.

– Не надо, – с мукой в лице прошептал князь. – Поят какой-то дрянью, никакого облегчения от нее.

Тысяцкий кулаком выпихнул из почивальни прибежавшего лекаря.

– Князь, благодарю за честь. – Косняч приложил руку к груди и легко поклонился. – Но дозволю поправить тебя. Видно, ты запомнил, что у твоей дружины воевода – боярин Перенег.

Изяслав махнул рукой:

– Пуцай он с молодой женой забавится. Тебе поручаю. Так и скажи отрокам – князь велел, а то еще не сговоришь их... У тебя дело покуражистей выйдет. Наказать полоцких надо, чтоб знали... – Князь тяжело дышал. – Холопов-душегубов пусть выдадут... А не захотят, ты уж там побушуй, двор разори... А может, их всех – в поруб? Как Всеслава?

Князь, кривясь от боли, усмехался. Коснячу мысль тоже понравилась.

– А можно, – кивнул. – И волхвов в Днепре утопить.

Изяслав хрипло прокаркал – смеялся.

– Одного, пожалуй, утопи... Да не в Днепре, а там же, в бочке... чтоб людей не смущать. Не хочу злодеем прослыть. Еще подумают невегласы, будто я веру христианскую силой утверждаю. – Приступ прошел, князь медленно распрямился. – Прочих же отпусти с миром. Что их чудесы против Господа?

– Как велишь, князь.

Изяслав встал, облачился при помощи постельничего холопа в летнюю бархатную вотолю и веско молвил:

– Всеслава сгною в порубе. Пускай его мои дети или внуки оттуда выведут и в чернецы постригут, как я с братьями нашего дядю Судислава Владимировича из темницы освободил, отцом моим заточенного. Двадцать четыре года томился в яме! Согнутым старцем вышел...

...Полоцкое подворье, называемое Брячиславов двор – по имени отца нынешнего полоцкого князя Всеслава, – построилось в Киеве при кагане Ярославе. Всеслав пошел в батюшку – такой же неугомонный и рукастый, готов прибрать все, что не им положено. Брячислав некогда тоже поспорил с князем Ярославом за Новгород и прочие земли. Нанял для войны пришлых варягов. Потом князья поладили миром. Поделили земли. Целовали крест, хотя Брячислав был суций язычник и знался с волхвами.

Двор себе полоцкий князь поставил на Горе, вблизи Софийских ворот. Завел здесь постоянную дружину. И стал двор бельмом на глазу у киевского князя. Пока Брячислав мирно старел, а его сын Всеслав радовался детским забавам, в Киеве было спокойно. Потом Брячислав помер, и Всеслав еще двадцать лет выжидал, когда можно будет поднять рать и посильнее досадить Ярославичам. А может, его подзуживали волхвы – обидно им было мириться с новой верой и с поруганием старых святынь. Всеслав же их слушал, потому что сам был рожден от колдовства.

Боярин Косняч сделал как было велено. По-быстрому собрал младших дружинников, раздал походное оружие – боевые топоры, луки. Отроки сперва недовольно фыркнули, что князь поставил над ними тысяцкого, но быстро смирились – забава предстояла знатная. Рать стремительно выступила к Брячиславову двору. Воевода Перенег и обидеться не успел. Он в это время таскал молодую жену за волосы и грозился воткнуть кол в зад тому молодцу, с которым она завела блядню. Как только узнает его имя.

Малая рать Косняча приступила к полоцкому подворью весело, с гомоном и пересмехами. Отрокам хорошего дела давно хотелось, на княжьем дворе службу нести скучно. И по окрестным селам урочную дань собирать – оно хоть и занятно, и себе не в убыток, но тоже простору для души нет. А с полоцкими дружинниками давно переругивались, теперь и повоевать можно.

От Косняча никто не ожидал такой прыти и решимости. Тысяцкий – не княжой воевода, а этот и городского ополчения ни разу еще не собирал. Но для прыти у боярина имелись причины. Пока готовились брать на щит Брячиславов двор, дружинники втайне от Косняча скалили зубы. Кто не знал ничего, тому рассказали, кто слышал краем уха, тому расписали в подробностях. Хотя таких было мало – из тех, кто лишь недавно воротился в Киев с дальней службы. Сватовство полоцкого боярина Килы к дочке тысяцкого смаковали даже на постоялых дворах и на торжищах.

Длилось сватовство с ранней весны. Косняч приказал уже и на двор не впускать Килиных сватов, и сторожевых псов завел. И дочка выходила из дома под охраной дюжины отроков, да и то редко, в церковь. Кила сперва терпел, потом грозил, затем стал поносно ругаться. От обиды под конец дошел до крайности. Исхитрился похитить девицу из-под носа у Коснячковых отроков. Но за свадебный стол ее не посадил. Девка тоже оказалась нравная и без родительского благословения пойти замуж не захотела. Кила вышел из себя, привязал тысяцкую дочку к дереву и на глазах у нее надругался над козой. После чего опозоренную девку в слезах, но в целости доставили к воротам Коснячковой усадьбы.

– А тысяцкий что? – давился от смеха дружинник, слышавший все это впервые.

– А что? Кила отсчитал ему пять гривен за умыкание девки. Да митрополиту двенадцать гривен – за блуд с животиной. А так по Русской Правде его дочку никто не позорил. Нету такого закона, чтоб за бесчестье козы как за срам боярской девки виру платить.

– Да-а. А дочку теперь, почитай, никто замуж не возьмет.

– Разве что вместо козы...

Так, с хохотом, обложили полоцкий двор, примерились к воротам. Сверху, из высокой теремной башенки-повалуши, с интересом глядели на внезапную рать Всеславовы бояре. Косняч начал с оскорбления – постучал мечом в ворота. Во весь голос прокричал:

– Великий князь киевский Изяслав Ярославич велит вам, полоцким боярам, выдать на поток двух холопов, виновных в убийстве новгородского епископа Стефана.

Из-за ворот тысяцкого обругали, а над высоким частоколом появилась голова отрока в островерхом шлеме.

– Великую же честь князь Изяслав оказывает холопам, – крикнул он насмешливо. – Целое войско снарядил!

– Отворяйте ворота, псы полоцкие! – рыкнул Косняч.

– А может, ты, боярин, жениха для дочки поискать тут пришел?

Разъяренный тысяцкий ударил мечом о колья стены – до наглой головы отрока не достал.

– Ломайте! – проревел он дружинникам, у которых плохо получалось прятать в молодые бороды ухмылки.

Полоцкий двор не крепостица, ограда – не срубная городьба, засыпанная изнутри землей, а простой частокол. Приступом брать подворье – совсем смешное дело. Но полоцкие кмети тоже исполчились. Едва Коснячковы дружинники ударили бревном в ворота, на них сверху, из повалуши и с кровель, посыпались стрелы. Кого-то сразу убило.

Отпор раззадорил княжих ратников. Укрываясь за щитами, они продолжали бить тараном ворота. С коней перелезали на частокол, прыгивали во двор и дрались мечом либо топором. Выцеливали из луков полоцких стрелков. Орали обидное. Косняч в шеломе и в чешуйчатой броне сидел на коне под самой стеной, куда не попадали стрелы, и яростно подбадривал отроков.

Ворота долго не продержались. Дружинники с ревом ворвались во двор, завязался ближний бой. Теснили друг дружку попеременно. Сперва смяли полоцких, придавив их к хоромам и к хозяйственным клетям. Затем полоцкие, вдохнув побольше воздуха, отбивали натиск и давили киевских ратников, скользивших в крови, спотыкавшихся о тела убитых и раненых.

Вне двора, за воротами тоже шла сшибка. Косняч оставил при себе два десятка кметей и ждал исхода боя. В это время от Софийских ворот прибежала толпа вооруженных градских людей и напала на конных дружинников. Те, разозлившись, быстро порубили половину, другую обезоружили и согнали в кучу.

– На кого руку подняли, холопье отродье?! – гневался тысяцкий.

– Прости, боярин, не признали...

– На торжище у Софии два волхва кричали, будто Всеслава в порубе порешили и двор его рушат.

– А вам, псы подзаборные, Всеслав кто – отец, брат или сват? – ревел Косняч.

– Так волхвы сказали, если Всеслава того... они мор на Киев нашьют.

Тысяцкий отрядил пятерых кметей:

– Привезите мне этих волхвов.

Между тем киевские дружинники загнали полоцких ратников в хоромы и дожимали там. Во дворе стонали раненые. Между клетей и в клетях пряталась полоцкая челядь. Несколько Коснячковых воинов сторожили полон – сидевших на земле злых, обезоруженных полоцких бояр и отроков.

Скоро из хором вытолкали еще полторы дюжины побитых кметей.

– Остальные в малом числе ушли через задние ворота, – сообщили тысяцкому.

Косняч приказал обыскать усадьбу, найти волхвов, не успевших разбежаться по торговым, и холопов-разбойников, из-за которых заварилось все дело. Челяди велено было прибрать мертвых и раненых, отделив наших от ваших.

И пошла забава.

Дружинники тащили из хором добро – оружие, броню, золотую и серебряную посуду, разную златокузнь, паволоки – аксамитовые, бархатные и тафтяные наряды, визжащих холопов. Выкатили из подклети две бочки ставленого меда и бочку зеленого вина.

Косняч, снявши шелом, учинил суд на полоняниками. Боярина Килы среди них он не нашел и сильно опечалился от того. Но тут же удовлетворился: велел захваченных полочан брать по одному и резать им бороды. А тем, которые при этом лаяли на тысяцкого хульными словами, – выдирать клещами. Наблюдая, как полоцкие бояре подвергаются страшному для мужа оскорблению, он обретал покой в душе. Родовая честь была восстановлена позором и посрамлением врага.

Дружинники, посланные обыскивать подворье, приволокли долгобородого седого старца в длинной, расшитой священными знаками рубахе. То был единственный волхв, на которого показала челядь.

– Других не сыскали, – сказали кмети, – и холопов, зарезавших епископа, не нашли.

– Где же они? – нахмурился тысяцкий. – Челядь опросили?

– Опросили. Говорят: чужих холопов не было.

– Хм, – задумчиво произнес Косняч.

Распотешенные дружинники выкатили еще одну винную бочку, вышибли верх. Затем подняли кудесника и осторожно опустили головой на самое дно.

– Испей, старче, повеселись с нами.

Отправленные на торжище кмети тоже вернулись ни с чем. Волхвы, пугавшие мором, исчезли так же внезапно, как и явились.

– Ну, довольно. Пора и честь знать, – сказал тысяцкий, садясь на коня.

Он оглядел разгромленное подворье и спросил, ни к кому не обращаясь:

– Не пустить ли красного петуха?

– Дерево отсырело от дождей, не займется, – ответил кто-то из дружинников.

– Ну и ладно, – передумал Косняч.

Дружина уходила с Брячиславова двора, отягощенная добычей. Сам тысяцкий ничего не взял из полоцкого имения, достаточно было того, что видел. Позади конной рати ехали телеги с ранеными княжими кметями. В хвосте тащились полоняники – ошипанная полоцкая дружина и битые горожане, общим числом более полусотни. Отдельного поруба для них не сыскалось. Не долго думая, затолкали всех в темницу, где ждали княжьего суда душегубы, тати, конокрады и должники.

8

В полуденные часы на Феодосьев монастырь, также прозванный Печерским, спускалось безмолвие. Черноризцы расходились по кельям для отдыха, чтобы на ночной молитве не радовать бесов своей квелостью. Ведь тошно бы стало человеку, если б мог он увидеть, как ухмыляются гнусные бесовские рожи, когда удастся им навести на молящегося обильную зевоту либо изнеможение, чтобы заставить подпереть собой стену храма. Или того больше – погрузить в сон, производить в животе у него шумные движения, развлекать его ум усладительными картинами. Много всякого может придумать бес, воюя с человеком, а тем паче с монахом. Потому монастырские ворота от полуденной трапезы до вечерней службы наглухо закрывались и никого не впускали. Мирная, чуткая дрема окутывала обитель. Разве что келарь нарушит тишину, гремя замками клетей, где хранился снадный припас. Да с богадельного двора прилетит плач младенца либо вскрик какого-нибудь несчастного, одержимого бесом или хворью.

Игумен Феодосий никому не позволял нарушать монастырский устав, списанный им с греческого. Положено отдыхать – так и сиди, а не то лежи в своей келье и других чернецов не зазывай для беседы. Сам же Феодосий послабление душе и телу давал не часто, даже спал всегда сидя, а умывался лишь утренней росой, зимой же снегом. И для беседы, если она требовалась чьей-то душе, не выбирал времени.

С утра в монастырь приехал боярин Янь Вышатич, воевода черниговского князя Святослава Ярославича. Отстоял службу, потрапезовал с монахами рыбой и чечевицей. После изъявил желание побеседовать с игуменом в келье о духовном.

– Древние отцы говорили: воин, идя в бой, не заботится о том, будет ли ранен или убит другой, но думает только о своем подвиге, – размеренно лилась негромкая речь Феодосия, – так и монах должен поступать. Но я так не могу. Другой, монах ли, мирской ли, дороже мне меня самого. Потому и монастырь этот я созидаю не для черноризцев лишь, но и для мира, для всей Руси. Всякий может сюда прийти и получить духовное утешение.

– Да и не только духовное, – сказал Янь Вышатич.

– По мере сил наших и молитв помогаем сирым и убогим, – согласился игумен. – Вот ответ на твой вопрос, боярин: я, худой раб Федос, от мира по своей воле скрылся в подземной келье и снова, но уже через принужденье, вышел к миру.

– Через принужденье?

– Если бы я стремился к миру без принужденье, я бы не был монахом. Чернеческое житие таково – всегда и во всем делать себе принужденье.

– Только ли чернеческое должно быть таким? – жадно спросил боярин.

Феодосий внимательно посмотрел на него.

– А ведь я, мнится, знаю, о чем ты спрашиваешь. Только не совсем пойму: ты, боярин, хочешь себя принудить оставить бесплодную жену и взять другую или та, другая, для тебя принужденье будет, чтобы только детей с ней родить?

– Смеешься ты надо мной, отче, – через силу улыбнулся черниговский воевода.

– А ты и сам над собой смеешься, когда слушаешь лукавые советы и думаешь принять их. Разве это добрые друзья говорят тебе развестись с Марьей, которую ты любишь всей душой? А то и не разводясь, привести в дом наложницу? Каково будет твоей жене, прожившей с тобой всю жизнь, видеть на мужнем ложе молодую девицу? Разве добрый друг не подумал бы прежде об этом?

– Прав ты, Феодосий, нет у меня друзей. – Боярин в тоске опустил голову. – И обо мне тоже никто не подумает.

– Не гневи Бога, Янь Вышатич. Есть кому о тебе думать. Да и Марья твоя любит тебя. Вместе и живите как Господь даст. А дети... – игумен задумался, теребя кипарисовые четки. – Дети по Божьей воле родятся, а не по людскому хотению.

Снаружи кельи возгремел молодой густой голос:

– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

– Аминь, – отозвался Феодосий. – Входи, брат Григорий.

Вошедший чернец доставал головой до потолка кельи и еще пригибался. Он был нескладен, кучеряв, с редкой бороденкой, не успевшей по молодости как следует вырасти. Низко поклонившись игумену и отдельно боярину, молвил:

– Из села я, из Мокшани, отче Феодосий. Беда стряслась. Беда и еще полбеда.

– Что ж прибежал? Сам не справишься?

– Не справлюсь, отче.

– Ладно, ступай пока, видишь, гость у меня... Постой-ка. Как ты в монастырь попал, если я велел ворота днем не отпирать?

– Прости, отче, – Григорий пал на колени и ударил лбом в земляной пол, – я через стену перепрыгнул.

– Экий ты безобразник, – пожурил его Феодосий. – Ну да с твоим росточком... Ступай. Монах принял благословение и скрылся за дверью.

Янь Вышатич посмеивался в бороду, наполовину седую. Настроение его заметно поднялось.

– Что же такого молодого на село посадил, отче игумен?

– Григорий и разумен, и духовен с годами будет. Молодость ему не помеха.

Боярин стал серьезен.

– Тебе, Феодосий, открыто будущее. Что будет с Русью?

Игумен смотрел в крошечное окошко кельи, затянутое бычьим пузырем.

– Отчего спрашиваешь, Янь Вышатич? – повернулся он к боярину, глянул остро.

– Тревожно мне. Князя Владимир и Ярослав на великий киевский стол через кровавые свары с братьями сели. Ярославичи пока в мире живут. А вдруг перессорятся? А сыновья их и внуки? Как полоцкий Всеслав, будут города друг у дружки жечь? Слышал ты, какой наемни погром в Киеве, на Брячиславовом дворе, учинился? Давеча и знамения были в солнце и в звездах. К добру ли все это?

Феодосий покачал головой, в которой было не так много еще седых волос. Игумен оставался крепок, хотя давно подступала старость.

– Не к добру, боярин. Быть бедам. Как не быть им. Что с Русью будет, спрашиваешь. Так ведь нет ее, настоящей-то Руси.

– Как же нет?! – изумился Янь. – Ведь Иларион-митрополит сказал о ней: не худая и неведомая страна, а ведомая и слышимая всеми четырьмя концами земли! И когда еще сказал – при князе Ярославе!

– Иларион далеко смотрел. Мудрец он был и книжник, разумом в поднебесье летал. Очертания грядущего зрел. Ныне же Русь – тесто сырое. Месить его надо, долго, чтоб взошло как надо. Да не задохнулось в квашне, не скисло и не прогоркло. А то ведь как бывает... Позапрошлым летом рыбаки вытащили неводом из Сетомли утопленного младенца. Страшненький был ребеночек, и рассматривали мы его целый день. Срамные части на лице росли, а прочего не буду тебе и описывать. Опять его в реку бросили, от греха дальше. Тесто-то Божье, а замес бесовский получился, срамной.

– Кто же русское тесто месить будет? – спросил Янь.

– Все. Господними руками все будут – от князя до смердов.

– Какой прок от смердов? – Боярин наморщил высокий открытый лоб. – Они по сю пору в древнем язычестве пребывают. Русь же христианской должна быть.

Феодосий помолчал, четки в его руках водили хоровод.

– Как жив князь Святослав? – вдруг спросил он.

– Слава Богу. Здоров, весел. На ловища ездит. Пирует. Как говаривал князь Владимир, веселие Руси есть пити.

– И волхвы-песнотворцы, Велесовы внуки, на пирах тех поют? Вещий Боян не в княжем ли тереме приют обрел? Так ли уж одни смерды в поганстве живут? Со смердов-то спрос меньший, чем с князей.

– Непокойная душа у Святослава, – вздохнул боярин, тоже не любивший песельников, кормившихся при дворе Святослава. – Тоска его гложет, что первее Изяслава не родился и что не совершил великого, как прадед – князь Святослав Игоревич.

– А если б мог, как Иаков у Исава, отобрать первородство, – взял бы?

– Взял бы, – не думая, ответил Янь. – И не погнушался бы ничем... Оттого и тревожно мне, отче.

– Ничего, боярин, ничего, – успокаивал Феодосий, – отстоится тесто, поспеет наш пирог. Когда-нибудь. Верь в это и будь мужествен.

– Сколько же лет нужно?

– Лет? – едва заметно улыбнулся игумен. – А может – веков? Может, и через тысячу лет Русь еще не дойдет?

– Да что ж так?! Что за пирог-то будет?

– А какой Господом задуман, такой и будет. Ну, давай-ка я тебя благословлю, боярин. Брат пономарь скоро к вечерне ударит. Марье от меня подарочек передай. – Феодосий сунул в руки Яню Вышатичу образок Богородицы. – На Святой земле, у Гроба Господня освящен.

– Благодарю, отче, что не забываешь нас, молитвами твоими не оставляешь.

– Ну, езжай с Богом, боярин. Скоро вновь свидимся.

– Да я как будто... – удивился Янь и просветлел: – Неужто в Чернигов поженуешь, отче? Князь Святослав тоже рад будет видеть тебя. Жалеет он, что такого светоча, как ты, в его земле нет.

– Не светоч я, а худой раб, обо мне ли князю радоваться?

Феодосий первым вышел из кельи. Янь Вышатич простился с ним, сел на коня, подведенного боярским отроком. Игумен велел привратнику открыть ворота. Когда боярин уехал, Феодосий отправился на поварню, посмотрел на нового послушника, рубившего дрова. Послушник выглядел зверовато: борода и волосы косматы, одежонка грязна, кой-где пятна будто кровавые, руки узловатые, огромные. Работал же старательно.

– Как тебе новый работник, брат Павел? – спросил Феодосий у повара, раздумывавшего над парящим котлом.

– Не нарадуюсь, отче. С виду страшон, поначалу так даже напугался я, какого ты мне медведя привел. Теперь же думаю, добрый чернец будет. К послушанию, видно, привычный. Откуда он к тебе пришел?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.